

Ф.М. Достоевский

ДВОЙНИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА

ГЛАВА 7

Опомнился он немного на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах я баран-голова! — ругнул он себя мысленно, — ну, куда ж я веду его? Сам я голову в петлю кладу. Что же подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? А он подозрителен...» Но уже поздно было раскаиваться; господин Голядкин постучался, дверь отворилась, и Петрушка начал снимать шинели с гостя и барина. Господин Голядкин посмотрел вскользь, так только бросил мельком взгляд на Петрушку, стараясь проникнуть в его физиономию и разгадать его мысли. Но, к величайшему своему удивлению, увидел он, что служитель его и не думает удивляться и даже, напротив, словно ждал чего-то подобного. Конечно, он и теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съест собирался. «Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, — думал герой наш, — бес какой-нибудь обежал! Непременно что-нибудь особенное должно быть во всём народе сегодня. Чёрт возьми, экая мука какая!» Вот всё-то таким образом думая и раздумывая, господин Голядкин ввёл гостя к себе в комнату и пригласил покорно садиться. Гость был в крайнем, по-видимому, замешательстве, очень робел, покорно следил за всеми движениями своего хозяина, ловил его взгляды и по ним, казалось, старался угадать его мысли. Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволят сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то норовит куда-нибудь спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, — и краснеет человек, и теряется, и страдает амбиция... Господин

Голядкин поставил свою шляпу на окно; от неосторожного движения шляпа его слетела на пол. Гость тотчас же бросился её поднимать, счистил всю пыль, бережно поставил на прежнее место, а свою на полу, возле стула, на краюшке которого смиренно сам поместился. Это маленькое обстоятельство открыло отчасти глаза господину Голядкину; понял он, что нужда в нём великая, и потому не стал более затрудняться, как начать с своим гостем, предоставив это всё, как и следовало, ему самому. Гость же, с своей стороны, тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко, или из учтивости ждал начала хозяйского, — неизвестно, разобрать было трудно. В это время вошёл Петрушка, остановился в дверях и уставился глазами в сторону, совершенно противоположную той, в которой помещались и гость и барин его.

— Обеда две порции прикажете брать? — проговорил он небрежно и сиповатым голосом.

— Я, я не знаю... вы — да, возьми, брат, две порции.

Петрушка ушёл. Господин Голядкин взглянул на своего гостя. Гость его покраснел до ушей. Господин Голядкин был добрый человек и потому, по доброте души своей, тотчас же составил теорию: «Бедный человек, — думал он, — да и на месте-то всего один день; в своё время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем. Эх его, какой он забитый! Ну, ничего; это отчасти и лучше...»

— Извините меня, что я, — начал господин Голядкин, — впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас?

— Я... Я... Яков Петровичем, — почти прошептал гость его, словно совестясь и стыдясь, словно прощения прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем.

— Яков Петрович! — повторил наш герой, не в силах будучи скрыть своего смущения.

— Да-с, точно так-с... Тёзка вам-с, — отвечал смиренный гость господина Голядкина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же и оселся назад, приняв вид самый серьёзный и немного, впрочем, смущённый, замечая, что хозяину его теперь не до шуточек.

— Вы... позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь...

— Зная ваше великодушие и добродетели ваши, — быстро, но робким голосом прервал его гость, немного приподымаясь со стула, — осмелился я обратиться к вам и просить вашего... знакомства и покровительства... — заключил его гость, очевидно затрудняясь в своих выражениях и выбирая слова не слишком льстивые и унижительные, чтоб не скомпрометировать себя в отношении амбиции, но и не слишком смелые, отзывающиеся неприличным равенством. Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вёл себя как благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся ещё как следует протягивать руку.

— Вы смущаете меня, — отвечал господин Голядкин, оглядывая себя, свои стены и гостя, — чем же я мог бы... я, то есть, хочу сказать, в каком именно отношении могу я вам услужить в чём-нибудь?

— Я, Яков Петрович, почувствовал к вам влечение с первого взгляда и, простите меня великодушно, на вас понадеялся, осмелился понадеяться, Яков Петрович. Я... я человек здесь затерянный, Яков Петрович, бедный, пострадал весьма много, Яков Петрович, и здесь ещё внове. Узнав, что вы, при обыкновенных, врождённых вам качествах вашей прекрасной души, однофамилец мой...

Господин Голядкин поморщился.

— Однофамилец мой и родом из одних со мной мест, решился я обратиться к вам и изложить вам затруднительное моё положение.

— Хорошо-с, хорошо-с; право, я не знаю, что вам сказать, — отвечал смущённым голосом господин Голядкин, — вот, после обеда, мы потолкуем...

Гость поклонился; обед принесли, Петрушка собрал на стол — и гость вместе с хозяином принялись насыщать себя. Обед продолжался недолго; оба они торопились — хозяин потому, что совестился, что обед был дурной; совестился же отчасти оттого, что хотелось гостя хорошо покормить, а частью оттого, что хотелось показать, что он не как нищий живёт. С своей стороны и

гость был в крайнем смущении и крайне конфузился. Взяв один раз хлеба и съев свой ломоть, он уже боялся протягивать руку к другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден, что обед был прекрасный и что он, с своей стороны, совершенно доволен. Когда еда кончилась, господин Голядкин закурил свою трубочку, предложил другую, заведённую для приятеля, гостю, — оба уселись друг против друга, и гость начал рассказывать свои приключения.

Рассказ господина Голядкина-младшего продолжался часа три или четыре. История приключений его была, впрочем, составлена из самых пустейших, из самых мизернейших, если можно сказать, обстоятельств. Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повытчиков*, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно; о престарелой тётушке его, Пелагее Семёновне; о том, как он, по разным интригам врагов своих, места лишился и пешком пришёл в Петербург; о том, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил чуть не на улице, ел чёрствый хлеб и запивал его слезами своими, спал на голом полу и, наконец, как кто-то из добрых людей взялся хлопотать о нём, рекомендовал и великодушно к новому месту пристроил. Гость господина Голядкина плакал, рассказывая, и утирал слёзы синим клетчатый платком, весьма походившим на клеёнку. Заключение же он тем, что открылся вполне господину Голядкину и признался, что ему не только нечем покамест жить и прилично устроиться, но и обмундироваться-то как следует не на что; что вот, включил он, даже на сапожишки не мог сколотиться и что вицмундир взят им у кого-то на подержание на малое время.

Господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут. Впрочем, и даже несмотря на то что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории ложились на сердце его, словно манна небесная. Дело в том, что господин Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил своё сердце на свободу и радость и, наконец, мысленно сам себя пожаловал

* Повытчик — судебный чиновник.

в дураки. Всё было так естественно! И было от чего сокрушаться, бить тревогу! Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, — да ведь оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват человек, когда сама природа сюда замешалась. К тому же гость просил покровительства, гость плакал, гость судьбу обвинял, казался таким незатейливым, без злобы и хитростей, жалким, ничтожным и, кажется, сам теперь совестился, странным сходством лица своего с хозяйским лицом. Вёл он себя донельзя благонадёжно, так и смотрел угодить своему хозяину и смотрел так, как смотрит человек, который терзается угрызениями совести и чувствует, что виноват перед другим человеком. Заходила ли, например, речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он всё разумеет точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он. Одним словом, гость употреблял всевозможные усилия «найти» в господине Голядкине, так что господин Голядкин решил наконец, что гость его должен быть весьма любезный человек во всех отношениях. Между прочим, подали чай; час был девятый. Господин Голядкин чувствовал себя в прекрасном расположении духа, развеселился, разыгрался, расходился понемножку и пустился наконец в самый живой и занимательный разговор с своим гостем. Господин Голядкин, под весёлую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. Так и теперь: рассказал гостю много о столице, об увеселениях и красотах её, о театре, о клубах, о картине Брюллова*; о том, как два англичанина приехали нарочно из Англии в Петербург, чтоб посмотреть на решётку Летнего сада**, и тотчас уехали; о службе,

* Картина «Последний день Помпеи», созданная художником в Италии, в 1834 году была привезена в Петербург.

** Упоминание короткого рассказа из книги В.П. Бурнашева «Прогулка с детьми по С.-Петербургу и его окрестностям», изданной в 1838 году.

об Олсуфье Ивановиче и об Андрее Филипповиче; о том, что Россия с часу на час идёт к совершенству и что тут Словесные науки днесь цветут; об анекдоте, прочитанном недавно в «Северной пчеле», и что в Индии есть змея удав необыкновенной силы; наконец, о бароне Брамбеусе* и т.д. и т.д. Словом, господин Голядкин вполне был доволен, во-первых, потому, что был совершенно спокоен; во-вторых, что не только не боялся врагов своих, но даже готов был теперь всех их вызвать на самый решительный бой; в-третьих, что сам своею особою оказывал покровительство и, наконец, делал доброе дело. Сознавался он, впрочем, в душе своей, что ещё не совсем счастлив в эту минуту, что сидит в нём ещё один червячок, самый маленький впрочем, и точит даже и теперь его сердце. Мучило крайне его воспоминание о вчерашнем вечере у Олсуфья Ивановича. Много бы дал он теперь, если б не было кой-чего из того, что было вчера. «Впрочем, ведь оно ничего!» — заключил наконец наш герой и решился твёрдо в душе вести себя вперёд хорошо и не впадать в подобные промахи. Так как господин Голядкин теперь расхотелся вполне и стал вдруг почти совершенно счастлив, то вздумалось ему даже и пожуировать жизнью. Принесён был Петрушкою ром, и составился пунш. Гость и хозяин осушили по стакану и по два. Гость оказался ещё любезнее прежнего и с своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего, сильно входил в удовольствие господина Голядкина, казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него, как на истинного и единственного своего благодетеля. Взяв перо и листочек бумажки, он попросил господина Голядкина не смотреть на то, что он будет писать, и потом, когда кончил, сам показал хозяину своему всё написанное. Оказалось, что это было четверостишие, написанное довольно чувствительно, впрочем прекрасным слогом и почерком, и, как видно, сочинение самого любезного гостя.

* Барон Брамбеус — имя главного героя повести «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса», впервые напечатанной в 1833 году в Петербурге. Автор повести О.А. Сенковский использовал также это имя в качестве одного из своих литературных псевдонимов.

Стишки были следующие:

Если ты меня забудешь,
 Не забуду я тебя;
 В жизни может всё случиться,
 Не забудь и ты меня!

Со слезами на глазах обнял своего гостя господин Голядкин и, расчувствовавшись наконец вполне, сам посвятил своего гостя в некоторые секреты и тайны свои, причём речь сильно напиралась на Андрея Филипповича и на Клару Олсуфьевну. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдёмся, — говорил наш герой своему гостю, — мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой понимаю; ведь ты как раз всё расскажешь, душа ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех». Гость вполне соглашался, благодарил господина Голядкина и тоже наконец прослезился. «Ты, знаешь ли, Яша, — продолжал господин Голядкин дрожащим, расслабленным голосом, — ты, Яша, поселись у меня на время или навсегда поселись. Мы сойдёмся. Что, брат, тебе, а? А ты не смущайся и не ропщи на то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство: роптать, брат, грешно; это природа! А мать-природа щедра, вот что, брат Яша! Любя тебя, братски любя тебя, говорю. А мы с тобой, Яша, будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрём». Пунш, наконец, дошёл до третьих и четвёртых стаканов на брата, и тогда господин Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое — что уже не может стоять на ногах. Гость, разумеется, был приглашён ночевать. Кровать была кое-как составлена из двух рядов стульев. Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мягко спать и на голом полу, что, с своей стороны, он заснёт, где придётся, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и что, наконец, он много перенёс на своём веку несчастий и горя, на всё посмотрел, всего перетерпел, и — кто знает будущность — может быть, ещё перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против

этого и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как бог. Тут господин Голядкин-старший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя божие. Потом, не соглашаясь, впрочем, с иными учёными в иных клеветах, взводимых на турецкого пророка Мухаммеда, и признавая его в своём роде великим политиком, господин Голядкин перешёл к весьма интересному описанию алжирской цирюльни, о которой читал в какой-то книжке в смеси*. Гость и хозяин много смеялись над простодушием турков; впрочем, не могли не отдать должной дани удивления их фанатизму, возбуждаемому опиумом... Гость стал наконец раздеваться, а господин Голядкин вышел за перегородку, частью по доброте души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочной нет, так чтоб не сконфузить и без того уже пострадавшего человека, а частью для того, чтоб увериться по возможности в Петрушке, испытать его, развеселить, если можно, и приласкать человека, чтоб уж все были счастливы и чтоб не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка всё ещё немного смущал господина Голядкина.

— Ты, Пётр, ложись теперь спать, — кротко сказал господин Голядкин, входя в отделение своего служителя, — ты теперь ложись спать, а завтра в восемь часов ты меня и разбуди. Понимаешь, Петруша?

Господин Голядкин говорил необыкновенно мягко и ласково. Но Петрушка молчал. Он в это время возился около своей кровати и даже не обернулся к своему барину, что должен был бы сделать, впрочем, из одного к нему уважения.

— Ты, Пётр, меня слышал? — продолжал господин Голядкин. — Ты вот теперь ложись спать, а завтра, Петруша, ты и разбуди меня в восемь часов, понимаешь?

— Да уж помню, уж что тут! — проворчал себе под нос Петрушка.

* «Смесь» — обычно под этой рубрикой в журналах публиковались материалы, взятые из иностранной прессы и научной литературы; здесь имеется в виду ежемесячный русский журнал «Библиотека для чтения», выходивший в Петербурге в 1834 — 1865 годах.

— Ну, то-то, Петруша; я это только так говорю, чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счастлив. А теперь спокойной ночи желаю тебе. Усни, Петруша, усни; мы все трудиться должны... Ты, брат, знаешь, не думай чего-нибудь...

Господин Голядкин начал было, да и остановился. «Не слишком ли будет, — подумал он, — не далеко ли я замахнул? Так-то всегда; всегда-то я пересыплю». Герой наш вышел от Петрушки весьма недовольный собою. К тому же грубостью и неподатливостью Петрушки он немного обиделся. «С шельмецом заигрывают, шельмецу барин честь делает, а он не чувствует, — подумал господин Голядкин. — Впрочем, такая уж тенденция подлая у всего этого рода!» Отчасти покачиваясь, воротился он в комнату и, видя, что гость его улёгся совсем, присел на минутку к нему на постель. «А ведь признайся, Яша, — начал он шёпотом, — ведь ты, подлец, предо мной виноват? Ведь ты, тёзка, знаешь, того...» — продолжал он, довольно фамильярно заигрывая с своим гостем. Наконец, распроставшись с ним дружески, господин Голядкин отправился спать. Гость между тем захрапел. Господин Голядкин в свою очередь начал ложиться в постель, а между тем, посмеиваясь, шептал про себя: «Ведь ты пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Голядка ты этакой, — фамилья твоя такова!! Ну, чему ты обрадовался? Ведь завтра расплачешься, нюня ты этакая: что мне делать с тобой!» Тут довольно странное ощущение отозвалось во всём существе господина Голядкина, что-то похожее на сомнение или раскаяние. «Расходился ж я, — думал он, — ведь вот теперь шумит в голове и я пьян; и не удержался, дурачина ты этакая! И вздору с три короба намолол да ещё хитрить, подлец, собирался. Конечно, прощение и забвение обид есть первейшая добродетель, но всё ж оно плохо! Вот оно как!» Тут господин Голядкин привстал, взял свечу и на цыпочках ещё раз пошёл взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он над ним в глубоком раздумье: «Картина неприятная! Пасквиль, чистейший пасквиль, да и дело с концом!»

Наконец господин Голядкин улёгся совсем. В голове у него шумело, трещало, звонило. Он стал забываться-забываться...

силился было о чём-то думать, вспомнить что-то такое весьма интересное, разрешить что-то такое весьма важное, какое-то щекотливое дело, — но не мог. Сон налетел на его победную голову, и он заснул так, как обыкновенно спят люди, с непривычки употребившие вдруг пять стаканов пунша на какой-нибудь дружеской вечеринке.